

Василий Васильевич Розанов

Опавшие листья



*Часть сборника
Апокалипсис нашего времени
(сборник)*



Василий Розанов

Опавшие листья

«Public Domain»

1913-1915

Розанов В. В.

Опавшие листья / В. В. Розанов — «Public Domain», 1913-1915

Книга «Опавшие листья» представляет особый интерес и для современного читателя. Это, по словам самого автора, собрание афоризмов – «полумыслей и полувздохов» – на самые различные темы; в них он коснулся семьи, собственной судьбы, литературы, религии, вопросов пола, ежедневных мелочей, одиночества, смерти и множества других явлений и предметов. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени... Это все "интимная", более нежели домашняя, более нежели откровенная, совсем и всецело "розановская" литература, – в своем типе, несомненно, единственная в нашей "словесности" (да и в какой литературе есть еще такая?).

© Розанов В. В., 1913-1915

© Public Domain, 1913-1915

Содержание

Короб первый	5
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Василий Васильевич Розанов

Опавшие листья

Короб первый

Я думал, что все бессмертно. И пел песни.
Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.
(три года уже).

* * *

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.
Даже не интересно...

* * *

Что значит, когда «я умру»?
Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.
Еще что?
Библиографы будут разбирать мои книги.
А я сам?
Сам? – *ничего*.
Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже
все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.
Какие ужасы!

* * *

Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего *бессилия*, глубокой ограниченности. Молитва – где «я не могу»; где «я могу» – нет молитвы.

* * *

Общество, *окружающие* убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу» и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.
И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.
(за *утрен. чаем*).

* * *

И бегут, бегут все. Куда? зачем?

– Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?¹

Да тут – не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся. Это скетинг-ринг, а не жизнь.
(на Волково).

* * *

Да. Смерть – это *тоже религия. Другая религия.*

Никогда не приходило на ум.

.....
Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

.....
Смерть – конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два – ноль».

(смотря на небо в саду).

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд – дают *ноль*.

Нет, больше: помноженные на *любовь*, на *надежду* – дают *ноль*.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем? Или неужели сказать, что смерть *сильнее* самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: *она сама* — Бог? на *Божьем месте*?

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

* * *

Смерть «бабушки» (Ал. Адр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было *грустно за нее*. Но я и «со мною» – ничего не переменялось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне *не нужна*? Ужасное подозрение. Значит, вещи, *лица* и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения *в них так сказать взятых от подошвы до вершины*, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это *одиночество вещей* еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем и дети, *погоревав*, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена *настанет только для нас*. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но *целого, всего* — ужасно.

Я *кончен*. Зачем же я *жил*?!!!

* * *

Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, – как обеднилась бы моя жизнь и *личность*. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

...о чем писать?

¹ Хочу (лат.).

Все написано *давно* (Лерм.).

Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

* * *

Как *самые счастливые* минуты в жизни мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алек. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден *созерцателем*, а не *действителем*.

Я пришел в мир, чтобы *видеть*, а не *совершить*.

* * *

Что же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть?
Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?
Нет.
Что же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

* * *

Я пролетал около тем, но не летел на темы.
Самый полет – вот моя жизнь. Темы – «как во сне».
Одна, другая... много... и все забыл. Забуду к могиле.
На том свете буду без тем.
Бог меня спросит:
– Что же ты сделал?
– Ничего.

* * *

Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни», и – не помышлять об остальном. Остальное – в «Судьбе»: и все равно *там* мы ничего не сделаем, а *свое* («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

* * *

Эгоизм – не худ; это – кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть $\frac{1}{1000}$ правоты в «анархизме»: не нужно «общего», *χοινο*“v: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы взглядеться, что такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это – «трогло-

диты», так как не имели «всеобщего обязательного обучения» и их не объегоривали янки; но по Библии – это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой).

* * *

Проснулся...

Какие-то звуки... И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока – светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубаху голые ножонки, – сидит Вася и, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон.

И ясны спящие громады
Пустынных улиц и светла
Адмиралтейская игла.
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...

Не дается слово... такая «Америка»; да и как «игла» на улице? И он перевирает:

...светла
Адмиралтейская игла,
Адмиралтейская звезда,
Горит восточная звезда.

– Ты что, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, – потому и серьезен:

– Повторяю урок.

– Так нужно учить:

Адмиралтейская игла.

Это шпиг так ой. В несколько саженой длины, т. е. высоты.

– Шпиг? Что это??

– Э... крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: игла. Учи, учи, маленькой.

И повернулся. По дому – благополучно. В спину мне слышалось:

Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда,
Ад-ми-рал-тей-ска-я игла.
.....

* * *

Вот почему литературы, в сущности, не нужно: тут прав К. Леонтьев. Почему, перечисляя славу века, назовут все Гёте и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга». В самом деле, «почему»? Почему «век Николая» был «веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя», а не веком Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет – так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты называли полководцев «Скалозубами» и «Бетрищевыми». Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и «кой-какая», – «на задворках».

Поэтому нет ли провиденциальности, что здесь «все проваливается»? что – не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь – а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б., мы живем в великом окончании литературы.

* * *

Листья в движении, но никакого шума. Все обрызгано дождем сквозь солнце. И мамочка сказала:

– Посмотри.

Я глядел и думал то же. Она же думала и сказала:

– Что может быть *чище* природы...

Она не говорила, но это была ее мысль, которую я продолжал:

– И люди и жизнь их уже не так чисты, как природа...

Мамочка сказала:

– Как природа невинна. И как поэтому благородна...

(лет восемь назад в саду).

Когда я прочел это мамочке, она сказала:

– Это было года четыре назад.

Это еще было до болезни, но она забыла: тому – лет восемь. Она прибавила:

– Ты теперь несчастен, и потому вспоминаешь о том, когда мы были счастливы.

Прихрамывая, несет полотняные туфли, потому что сапоги я снял и по ошибке поставил торжественно перед собою на перильцах балкона («куда-нибудь»).

И все хромает.

И все помогает.

– Как было нехорошо вчера без тебя. Припадок. Даже лед на голову клала (крайне редкое средство).

* * *

Иду. Иду. Иду. Иду...

И где кончится мой путь – не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее, «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срыгает меня с каждого места, где стоял.

(окружной суд, об «Уединен.»).

* * *

После книгопечатания любовь стала невозможной.

Какая же любовь «с книгою»?
(*собираясь на именины*).

* * *

Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете* — невозможно. Там, м. б., в платоновском смысле «бессмертие души» — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно.

И не то чтобы «душа Шперка — бессмертна»: а его бороденка рыжая не могла умереть. «Вызов» его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его «бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не «заплатывается», с тех пор как была. Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно.

Я хочу «на тот свет» прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше.
(16 мая 1912 г.).

* * *

Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю *самой души*. Пытая, кажется, нахожу главный источник по крайней мере *холодности* и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в «сословном разделении».

Соловьев если не был аристократ, то все равно был «в славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но говоря с Рачинским об *одних мыслях* и будучи *одних взглядов* (на церковн. школу), — я помню, что все им говоримое было мне *чужое*; и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их *почему-то* не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызвала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.). Толстой ставит то «3», то «1» Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними «водиться» (знаться). «Ну, и успевайте, господа, — мое дело сторона». С детства мне было страшно врождено сострадание: и на этот главный пафос души во всех трех я не находил никакого объекта, никакого для себя «предмета». Как я любил и люблю Страхова, любил и люблю К. Леонтьева; не говоря о «мелочах жизни», которые люблю безмерно. Почти нашел разгадку: любить можно то, или — того, о ком сердце болит. О всех трех не было никакой причины «душе болеть», и от этого я их не любил.

«Сословное разделение»: я это чувствовал с Рачинским. Всегда было «все равно», что бы он ни говорил; как и о себе я чувствовал, что Рачинскому было «все равно», что *у меня в душе*, и он таким же отдаленным люблением любил мои писания (он их любил, — по-видимому). Тут именно сословная страшная разница; другой мир, «другая кожа», «другая шкура». Но нельзя

ничего понять, если припишешь зависти (было бы слишком просто): тут именно *непонимание* в смысле невозможности усвоения. «Весь мир другой: – *его*, и – *мой*». С Рцы (дворянин) мы понимали же друг друга с $1/2$ слова, с намека; но он был беден, как и я, «не нужен в мире», как и я (себя чувствовал). Вот эта «ненужность», «отшвырнутость» от мира ужасно соединяет, и «страшно все сразу становится понятно»; и люди не на словах становятся братья.

* * *

История не есть ли чудовищное *другое* лицо, которое проглатывает людей *себе в пищу*, несколько не думая о их счастье. Не интересуясь им?

Не есть ли мы – «я» в «Я»?

Как все страшно и безжалостно устроено.

(в лесу).

* * *

Есть ли жалость в мире? Красота – да, смысл – да. Но жалость?

Звезды жалеют ли? Мать – жалеет и да будет она выше звезд.

(в лесу).

* * *

Жалость – в маленьком. Вот почему я люблю маленькое.

(в лесу).

* * *

Писательство есть Рок. Писательство есть *fatum*. Писательство есть несчастье.

(3 мая 1912 г.).

...и, может быть, только от этого писателей нельзя судить страшным судом... *Строгим-то* их все-таки следует судить.

(4 мая 1912 г.).

* * *

1 р. 50 к.

– Я тебе, деточка, переложу подушку к ногам. А то от горячей печи голова разболится.

– Хорошо, папа. Но поставь стул (к изголовью).

Поставил.

И, улыбаясь, поднялась и, вынув что-то из-под подушки, бросила на решетку стула серебряный рубль.

– Я буду на него смотреть.

Я уже догадался: «рубль» мамочка дала, чтобы было «терпеливее» лежать.

Больна. 11 или 12 лет.

Варя в саду так и старается. Метлой больше себя сметает по дорожкам и перед балконом листья, бумажки и всякий сор, – чтобы бросить в яму.

– Хорошо, Варя.

Подняла голову. Вся красивая. Волосы как лен. Огромные серые глаза, с прелестью вечного недоумения в них, подпольного проказничества, и смелости. И чудный (от работы) румянец на щеках.

13 лет.

Это она зарабатывает свой полтинник.

Больная мама говорит мне с кушетки:

– Ну, все-таки и моцион на воздухе.

Трем удовольствие, и всего обошлось в 1 р. 50 к.

Варю Таня (старшая, с нею в одной школе) зовет «белый коняшка» или «белый конек». Она в самом деле похожа на жеребеночка. Вся большая, веселая, энергичная, – и от белых волос и белого цвета кожи ее прозвали «белым конем».

Это когда-то давно-давно, когда все были крошечные и в училища еще ни одна не поступала, – я купил, увидя на окне кондитерской на Знаменской (была страстная неделя) зверьков из папье-маше. Купил слона, жирафу и зебру. И принес домой, вынул «секретно» из-под пальто и сказал:

– Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего.

Они, минуту смотря, схватили:

Толстенкая и добренькая Вера, с милой улыбкой

– **слона.**

Зебру, – шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы)

– **Варя.**

А тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась

– **Тане.**

Все дети были похожи именно на этих животных, – и в кондитерской я оттого и купил их, что меня поразило сходство по типу, по духу.

Еще было давно: я купил мохнатую собачонку, пуделя. И, не говоря ничего дома, положил под подушку Вере, во время вечернего чая. Когда она пошла спать, то я стал около лестницы, отделенной лишь досчатой стеной от их комнаты. Слышу:

– Ай!

– Ай! Ай! Ай!

– Что это такое? Что это такое?

Я прошел к себе. Не сказал ничего, ни сегодня, ни завтра. И на слова: «Не ты ли положил?» – отвечал что-то грубо и равнодушно. Так она и не узнала, как, что и откуда.

* * *

Толстой был гениален, но не умен. А при всякой гениальности ум все-таки «не мешает».

* * *

Ум, положим, мешанинишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь.

Надо ходить в чищенных сапогах, надо, чтобы кто-то сшил платье. «Илья-пророк» все-таки имел милость, и ее сшил какой-нибудь портной.

Самое презрение куму (мистики), т. е. мещанину, имеет что-то *на самом конце своем* — мещанское «Я такой барин» или «пророк», что «не подаю руки этой чуйке». Сказавший или подумавший так *eo ipso*² обращается в псевдобарина и лжепророка.

Настоящее *господство над умом* должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятым; это должно быть субъективной тайной. Пусть Спенсер чванится перед Паскалем. Паскаль должен даже время от времени называть Спенсера «вашим превосходительством», — и вообще не подавать никакого вида о настоящей *мере* Спенсера.

* * *

Мож. быть, я расхожусь не с человеком, а только с литературой? Разойтись с человеком страшно. С литературой — ничего особенного.

* * *

Левин верно упрекает меня в «эготизме». Конечно — это *есть*. И даже именно от этого я и писал (пишу) «Уед.»: писал (пишу) в глубокой тоске как-нибудь разорвать кольцо уединения... Это именно кольцо, надетое с рождения.

Из-за него я и кричу: вот что *здесь*, пусть — *узнают*, если уже невозможно ни увидеть, ни осязать, ни прийти на помощь.

Как утонувший, на дне глубокого колодца, кричал бы людям «там», «на земле».

* * *

.....
.....

Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рывины.

— Что это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай.
(на Невском, ремонт).

* * *

Много есть прекрасного в России, 17-ое октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невск.). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери.

И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой Полное православие.

И лавка небольшая. Все дерево. По-русски. И покупатель — серьезный и озабоченный, — в благородном подъеме к труду и воздержанию.

Вечером пришли секунданты на дуэль. Едва отделался.

² Вследствие этого (*лат.*).

В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского.

(первый день Великого Поста).

* * *

25-летний юбилей Корецкого. Приглашение. Не пошел. Справили Отчет в «Нов. Вр.» Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает? Очевидно, гг. писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.

Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгой». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь. Так Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море.

«Дорого да сердито...» Тут наоборот – «не дорого и не сердито»
(март, 1912 г.).

* * *

Из каждой страницы Вейнингера слышится крик: «Я люблю мужчин!» – «Ну что же: ты – содомит». И на этом можно закрыть книгу.

Она вся сплетена из volo и scio: его scio³ – гениально, по крайней мере где *касается обзора природы*. Женским глазом он уловил тысячи дотоле незаметных подробностей; даже заметил, что «кормление ребенка возбуждает женщину». (Отсюда, собственно, и происходит вечное «перекармливание» кормилицами и матерями и последующее заболевание у младенцев желудка, с которым «нет sprawy».)

– Фу, какая баба! – Точно ты *сам кормил* ребенка, или хотел его выкормить!

«Женщина бесконечно благодарна мужчине за совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это – кульминационная точка ее существования». Это он не повторяет, а *твердит* в своей книге. Можно погрозить пальчиком: «Не выдавай тайны, баба! Скрой тщательнее свои грезы!!» Он говорит о *всех женищинах*, как бы они были все его соперницами, – с этим же раздражением. Но женщины великодушнее. Имея каждая своего верного мужа, они нимало не претендуют на уличных самцов, и оставляют на долю Вейнингера совершенно достаточно брюк.

Ревнование (мужчин) к женщинам заставило его ненавидеть «соперниц». С тем вместе он полон глубочайшей нравственной тоски: и в ней раскрыл глубокую нравственность женщин, – которую в ревности отрицает. Он перешел в христианство: как и вообще женщины (св. Ольга, св. Клотильда, св. Берта) первые приняли христианство. Напротив, евреев он ненавидит: и опять – потому, что они\оне суть его «соперницы» (бабья натура евреев, – моя *idée fixe*).

³ Знаю (лат.).

* * *

Наш Иван Павлович врожденный священник, но не посвящается. Много заботы. И пока остается учителем семинарии.

Он всегда немного дремлет. И если ему дать выдрематься – он становится веселее. А если разбудить, становится раздражен. Но не очень и не долго.

У него жена – через 8 лет брака – стала «в таком положении». Он ужасно сконфузился, и написал предупредительно всем знакомым, чтобы не приходили. «Жена несколько нездорова, а когда выздоровит – я извещу».

Она умерла. Он написал в письме: «Царство ей небесное. Там ей лучше».

Так кончаются наши «священные истории». Очень коротко.

(за чаем вспомнил).

* * *

Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается.

(24 марта, 1912 г., купив 3 места на Волковом).

* * *

У Нины Р-вой (плем.) подруга: вся погружена в историю, космографию. Видна Красива. Хороший рост. Я и спрашиваю:

– Что самое прекрасное в мужчине?

Она вдохновенно подняла голову:

– *Сила!*

(на побывке в Москве).

* * *

Никогда, никогда не порадуется священник «плоду чрева».

Никогда.

Никогда ex cathedra⁴, а разве приватно.

А между тем есть нумизмат Б. (он производит себя от Александра Бала, царя Сирии), у которого я увидел бронзовую Faustinajun., с реверсом (изображение на обратной стороне монеты): женщина держит на руках двух младенцев, а у ног ее держатся за подол тоже два – побольше – ребенка. Надпись кругом

FECVNDITAS AVCVSTAE

т. е.

ЧАДОРОДИЕ ЦАРИЦЫ.

Я был так поражен красотой этого смысла, что тотчас купил. «Торговая монета», орудие обмена, в руках у всех, у торговок, проституток, мясников, франтов, в Тибуре и на Капитолии: и вдруг императрица Фаустина (жена Марка Аврелия), такая видная, такая царственная

⁴ С кафедры (лат.).

(портрет на лицевой стороне монеты), точно вываливает беременный живот на руки «доброго народа Римского», говоря:

«— Радуйтесь, я еще родила: теперь у меня – четверо».

Все это я выразил вслух, и старик Б., хитрый и остроумный, тотчас крикнул жену свою: вышла пышная большая дама, лет на 20 моложе Б., и я стал ей показывать монету, кажется забыв немножко, что она «дама». Но она (гречанка, как и он) сейчас поняла и стала с сочувствием слушать, а когда я ее деликатно упрекнул, что «вот у нее небойсь – нет четверых», – она с живостью ответила:

– Нет, ровно четверо: моряк, студент и дочь...

Но она моментально вышла и ввела дочь, такую же красавицу, как сама. Этой я ничего не сказал (барышня), и она скоро вышла.

Вхожу через два года, отдать Б. долгишко (рублей 70) за монеты. Постарел старик, и жена чуть-чуть постарела. Говорю ей:

– Уговорите мужа, он совсем стар, упомянуть в духовном завещании, что он дарит мне тетрадрахму Маронеи с Дионисом, держащим два тирса (трости) и кисть винограда (руб. 25), и тетрадрахму Триполиса (в Финикии, а Маронея – во Фракии) с головою Диоскуров (около ста рублей). – Б. кричит:

– Ах, вы... Я – вас переживу!

– Куда, вы весь седой. Состояние у вас большое, и что вам две монеты, стоимостью в 125 р., детям же они, очевидно, не нужны, потому что это специальность. А что дочь?

– Вышла замуж!!

– Вышла замуж?! Это добродетельно. И...

– И уже сын, – сказала счастливая бабушка.

Она была очень хороша. Пышна. И именно как Фаустина. Ни чуточки одряхления или старости, «склонения долу»; Б., хоть весь белый, жив и юрок, как сороконожка. Уверен, самое проницательное и «нужное» лицо в своем министерстве.

Вот такого как бы «баюкания куретами младенца Диониса» (миф, – есть на монетах), свободного, без сала, но с шутками и любящего, – нет, не было, не будет возле одежд с позументами, слишком официальных и торжественных, чтобы снизойти до пеленок, кровати и спальни.

Отсюда такое недоумение и взрыв ярости, когда я предложил на Религиозно-Философских собраниях, чтобы новобрачным первое время после венчания предоставлено было оставаться там, где они и повенчались; потому что я читал у Андрея Печерского, как в прекрасной церемонии постригаемая в монашество девушка проводит в моленной (церковь старообрядческая) трое суток, и ей приносят туда еду и питье. «Что монахам – то и семейным, равная честь и равный обряд» – моя мысль. Это – о проведении в священном месте нескольких суток новобрачия, суток трех, суток семи, – я повторил потом (передавая о предложении в Рел. – Фил. собрании) и в «Нов. Вр.». Уединение в место молитвы, при мерцающих образах, немногих зажженных лампадах, без людей, без посторонних, без чужих глаз, без чужих ушей... какие все это может родить думы, впечатления! И как бы эти переживания протянулись длинной полосой тихого религиозного света в начинающуюся и уже начавшуюся супружескую жизнь, – начавшуюся именно *здесь, в Доме молитвы*. Здесь невольно приходили бы первые «предзнаменования», – приметы, признаки, как у *vates*⁵ древности. И кто еще так нуждается во всем этом, как не тревожно вступившие в самую важную и самую ценную, – самую сладкую, но и самую опасную, – связь. Антоний Храповицкий все это представил совершенно не так, как мне представлялось в тот поистине час ясновидения, когда я сказал предложенное. Мне представлялась ночь, и половина храма с открытым куполом, под *звездами*, среди которого подыма-

⁵ Пророк (лат.).

ются небольшие деревца и цветы, посаженные в почву по дорожкам, откуда вынуты половицы пола и насыпана черная земля. Вот тут-то, среди цветов и деревьев и под звездами, *в природе* и вместе с тем *во храме*, юные проводят неделю, две, три, четыре... Это – как бы летняя часть храма, в отличие от зимней, «теплой» (у нас на севере). Конечно, все это преимущественно осуществимо на юге: но ведь во владениях России есть и юг. Что же еще? Они остаются здесь до ясно обозначившейся беременности. Здесь – и бассейн. Ведь в ветхозаветном храме был же бассейн для погружения священников и первосвященника, – «каменное море», утвержденное на спинах двенадцати изваянных быков. Почему *эту* подробность ветхозаветного культа не внести в наши церкви, где есть же ветхозаветный «занавес», где читаются «паремии», т. е. извлечения из ветхозаветных книг. И вообще со Священным Писанием Ветхого Завета у нас не разорвано. Да и в Новом Завете... Разве мы не читаем там, разве на богослужении нашем не возглашается: «Говорю вам, что *Царствие Божие подобно Чертогу Брачному...*» «Чертогу брачному»!! – конечно, это не в смысле танцующей вечеринки гостей, которая не отличается от всяких других вечеринок и к браку никакого отношения не имеет, а в смысле – комнаты двух новобрачных, в смысле их опочивальни. Ужели же то, *с чем сравнена* самая суть *того, о чем учил* Спаситель (Царствие Божие), – неужели это низко, грязно и недостойно того, чтобы мы часть церкви своей приспособили, – украсив деревьями, цветами и бассейном, – к этому образу в устах Спасителя?! Внести в нашу церковь *Чертог брачный* – и была моя мысль. Нет, верно указание Рцы, много раз им повторенное (а он ли не религиозен и не предан православию, взяв самый псевдоним свой от диаконского «рцы», «рцем»), что «тесто *еще не возшло* (евангельская притча) и закваска (дрожжи) *не овладела всею мукою, всыпанною в сосуд*». Эта «мука, всыпанная в сосуд», есть вся наша жизнь. *Весь наш быт*. Вот этим бытом еще не овладели *вполне* «дрожжи», евангельская «закваска», т. е. Слово Божие, целые Божии притчи, образы, сравнения!!! Позвольте: да в церкви Смоленского кладбища я, хороня старшую Надю, видел комнату с вывеской над дверью: «*Контора*», какового имени и какового смысла с *утвердительным* значением нигде нет в Евангелии. Позвольте, скажите вы, владыка Антоний, – почему же «Контора» выше и священнее «Чертога брачного», о котором, *и не раз*, Спаситель говорил любяще и уважительно. И если внесена сейчас «Контора» в храмы, не обезобразив и не загрязнив их, то почему это храмы наши загрязнились бы через внесение в них нареченных с любовью Спасителем Чертогов брачных?! – конечно, не одного, а многих, потому что в течение 2-3-х месяцев до беременности вот этой молодой, положим, Марии, повенчается еще много следующих Лиз и Екатерин. Подобное внесение просто лишь «непривычно», мы не привыкли «видеть». Но «мы не привыкли» и «ересь» – это разница. При этом, разумеется, никаких актов (как предположил же еп. Антоний!!!) *на виду* не будет, так как после грехопадения всему этому указано быть *в тайне и сокровении* («кожаные препоясания»); и именно для воспоминания об этом потрясающем законе отдельные чертоги (в нишах стен? возле стен? позади хоров?) *должны быть* *завешены именно кожами, шкурами зверей*, имея открытым лишь верх для соединения с воздухом храма. Как было не понять моей мысли: раз все здесь – религия, то, конечно, все должно быть деликатно и не оскорбительно для взора и для ума. Все – именно так, как и привыкли в супружестве: где чистейшие семьи и благороднейшие дома, напр., дóмы священников, не оскверняются сами и не оскорбляют ни взора, ни ума тем, что в них оплодотворяются и множатся, а при замужестве дочери («взяли зятя в семью») оплодотворяются и множатся родители и дети. Почему же не к *такой семье*, почему именно к *одиноким квартире* ректора-архимандрита должен быть придвинут по образу, по типу и по духу наш православный храм, в котором молитвенников-семьянинов, конечно, больше, нежели холостых или вдовствующих!!!???

Непонятно – у Храповицкого.

А моя мысль – совершенно понятна.

* * *

Совершенства нет на земле...
Даже и совершенной церкви...
(ужасное по греху письмо Альбова).

* * *

Мед и розы...
И в розе – младенец.
«Бог послал», – говорит мир.
– «Нет, – говорят старцы-законники: – От лукавого».

Но мир уже перестал им верить.
(в клинике Ел. Павл.).

* * *

В невыразимых слезах хочется передать все просто и грубо, унижая милый предмет: хотя в смысле *напора*—сравнение точно:

Рот переполнен слюной, – нельзя выплюнуть. Можно попасть в старцев.

Человек ест дни, недели, месяцы: нельзя сходить «кой-куда», – нужно все держать в себе...

Пил, пьешь – и опять нельзя никуда «сходить»...

Вот – девство.

– Я задыхаюсь! Меня распирает!

«– Нельзя».

Вот монашество.

Что же такое делает оно? Как могло оно получить от земли, от страны, от законов санкции себе не как личному и исключительному явлению, а как некоторой норме и правилу, как «образцу христианского жития, если его *суть* — просто никуда «не ходи», когда желудок, кишки, все внутренности расперты и мозг отравлен мочевиной, всасывающейся в кровь, когда желудок отравлен птомаинами, когда начинается некроз тканей всего организма.

– Не могу!!!!

«– Нельзя!»

– Умираю!!!!

«– Умирай!»

Неужели, неужели это истина? Неужели это *религиозная* истина? Неужели это – Божеская правда на земле?

Девушки, девушки – стойте в вашем стоянии! Вы посланы в мир животом, а не головою: вы – охранительницы Древа Жизни, а не каменных ископаемых деревьев, находимых в угольных копях.

Охраняйте Древо Жизни – вы его Ангел «с мечом обращающимся». И не опускайте этот меч.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

Семь старцев за 60 лет, у которых не поднимается голова, не поднимаются руки, вообще ничего не «поднимается», и едва шевелятся челюсти, когда они жуют, – видите ли, не «посягают на женщину» уже, и предаются безбрачию.

Такое удовольствие для отечества и радость Небесам.

Все удивляются на старцев:

– Они в самом деле не посягают, ни явно, ни тайно.

И славословят их. И возвеличили их. И украсили их. «Живые боги на земле».

Старцы жуют кашку и улыбаются:

– Мы действительно не посягаем. В вечный образец дев 17-ти лет и юношей 23-х лет, – которые могут нашим примером вдохновиться, как им удерживаться от похоти и не впасть в блуд.

Так весело, что планета затанцует.

(в клинике Ел. Павл.).

* * *

Как же бы я мог умереть не *так* и не *там*, где наша мамочка.

И я стал опять православным.

(клиника Ел. Павл.).

* * *

Все *очерчено* и *окончено* в человеке, кроме половых органов, которые кажутся около остального каким-то многоточием или неясностью... которую встречает и с которой связывается неясность или многоточие другого организма. И тогда – оба *ясны*. Не от этой ли *неоконченности* отвратительный вид их (на который все жалуются): и – восторг в минуту, когда недоговоренное – кончается (акт в ощущении)?

Как бы Б. хотел сотворить *акт*. но не исполнил движение свое, а дал его *начало* в мужчине и *начало* в женщине. И уже они оканчивают это первоначальное движение. Отсюда его сладость и неодолимость.

В «s» же (*utriusque sexus homines*)⁶ все уже *кончено*: вот отчего с «s» связано столько таланта.

* * *

Одни молоды, и им нужно веселье, другие стары, и им нужен покой, девушкам – замужество, замужним – «вторая молодость»... И все толкаются, и вечный шум.

⁶ Оба человеческих пола (*лат.*).

Жизнь происходит от «неустойчивых равновесий». Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни.

Но неустойчивое равновесие – тревога, «неудобно мне», опасность.

Мир вечно тревожен, и тем живет.

Какая же чепуха эти «Солнечный город» и «Утопия»: суть коих *вечное счастье*. Т. е. окончательное «устойчивое равновесие». Это не «будущее», а смерть.

(проводжая Верочку в Лисино, вокзал).

* * *

Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – буря, дождь, ветер...

Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: «Неужели он (соц.) *был?*» «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»

– О, да! И еще скольких этот град побил!!

– «Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?»

* * *

Что я все *надавил* на Добчинских? Разве они не рады бы были быть как Шекспир? Ведь я, собственно, на это сержусь, почему «не как Шекспир», – не на *тему* их, а на способ, фасон, стиль. Но «где же набраться Шекспиров», и неужели *от этого* другим «не жить»?..

Как много во мне умерщвляющего.

И опять – пустыня.

Всякому нужно жить, и Добчинскому. Не я ли говорил, что «есть идея и *волоса*» (по Платону), идея – «ничего», даже – *отрицательного* и *порока*. Бог меряет не верстами только, по и миллиметрами, и «миллиметр» ровно так же нужен, как и «верста». И все – живут. «Трясут животишками»... Ну и пусть. Мое дело *любоваться*, а не ненавидеть.

Любовался же я в Нескучном (Мос.), глядя на пароходик. «Гуляка по садам» (кафешантанам), положив обе руки на плечи гуляки же, говорил:

– Один – и *никого!*

Потом еще бормотанье и опять выкрик:

– Вообрази: один и *никого!*

Это он рассказывал, очевидно, что «вчера пришел туда-то», и *никого* из «своих» не встретил.

Он был так художествен, мил в своей радости, что «вот теперь с приятелем едет», что я на десятки лет запомнил. И что я его тогда *любил*, он мне *нравился* — это доброе во мне. А «литература» – от лукавого.

(за статьей о пожарах).

* * *

Рассеянный человек и есть *сосредоточенный*. Но не на ожидаемом или желаемом, а на другом и своем.

* * *

Имей всегда сосредоточенное устремление, не глядя по сторонам. Это не значит: – будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде: но душой никогда не смотри на многое, а на *одно*.

* * *

...а все-таки тоскуешь по известности, по признанности, твердости. Есть этот червяк, как пот в ногах, сера в ушах. Все зудит. И всё вонь. А ухо хорошо. И нога хороша. Нужно эту гадость твердо очертить, и сказать: плюйте на нее.

Поразительно, что у Над. Ром., Ольги Ив. (жена Рцы) и «друга» никогда не было влечения к известности хотя бы в околотке. «Все равно». И по этим качествам, т. е. что они не имели самых неизбывных качеств человека, я смотрел на них с каким-то страхом восторга.

* * *

Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, обглоданная евреями, будет являть одни кости – тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого. Так да будет...

(за уборкой библиотеки).

* * *

Как зачавкали губами и «идеалист» Борух, и «такая милая» Ревекка Ю-на, «друг нашего дома», когда прочли «Темн. Лик». Тут я сказал в себе: «Назад! Страшись!» (мое отношение к евреям).

Они думали, что я не вижу: но я хоть и «сплю вечно», а подглядел. Ст-ъ (Борух), соскакивая с санок, так оживленно, весело, *счастливо* воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:

– Ну а все-таки – *он лжец*.

Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Ш. ы в комнате: «Н-н-н... да... Я прочла «Т. Л.». И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.

Таких *физиологических* (зрительно-осязательных) вещей надо увидеть, чтобы понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, в сказаниях. Действительно, есть какая-то *ненависть* между *Ним* и еврейством. И когда думаешь об этом – становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное: «Распни *Его*».

Думают ли об этом евреи? толпа? По крайней мере никогда не высказываются.

(за уборкой библиотеки).

* * *

Да... вся наша история немножечко трущоба, и вся наша жизнь немножечко трущоба.
Тут и администрация и *citoyens*⁷.
(в вагоне).

* * *

Сколько изнурительного труда за подбором матерьяла (и «примечаний» к нему) в «Семейном вопросе». Это мои литературные «рудники», которые я прошел, чтобы помочь семье. Как и «Сумерки просвещения» – детям. И сколько в *каждой странице* любви. Самая причина сказать: «Он ничего не чувствует», «Ничего ему не нужно».
(вагон, думая о критиках своих).

* * *

Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого – «смерть». Разве *это* возможно как-нибудь назвать? Разве *оно* имеет имя? Имя – уже определение, уже «что-то знаем». Но ведь мы же об этом *ничего не знаем*. И, произнося в разговорах «смерть», мы как бы танцуем в бланманже для ужина или спрашиваем: «Сколько часов в миске супа?» Цинизм. Бессмыслица.

* * *

Как я отношусь к молодому поколению?
Никак. Не думаю.
Думаю только изредка. Но всегда мне его жаль. Сироты.

* * *

Любовь есть *боль*. Кто не болит (о другом), тот и не любит (другого).

* * *

Литература (печать) прищемила у человека *самолюбие*. Все стали *бояться ее*; все стали *ждать* от нее... «Эти мошенники, однако, раздают мантионовские премии». И вот откуда выросла ее *сила*.

Сила ее оканчивается там, где человек *смежает на нее глаза*. «Шестая держава» (Наполеон о печати) обращается вдруг в посеревшую хилую деревушку, как только, повернувшись к ней спиной, вы *смотрите на дело*, а не на ландкарту с надписью: «Шестая держава».

⁷ Граждане (*фр.*).

* * *

Революция имеет два измерения – длину и ширину; но не имеет третьего – глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь *спелого, вкусного плода*; никогда не «завершится»...

Она будет все расти *в раздражение*, но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: «Довольно! Я – счастлив! Сегодня так хорошо, что не надо *завтра*»... Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на «завтра»... И всякое «завтра» ее обманет и перейдет в «послезавтра». Perpetuum mobile, circulus vitiosus⁸, и не от бесконечности – куда! – а именно от короткости. «Собака на цепи», сплетенной из своих же гнилых чувств. «Конура», «длина цепи», «возврат в конуру», тревожный коротенький сон.

В революции нет радости. И *не будет*.

Радость – слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея.

Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механична, она матерьялистична. Но это – не случай, не простая связь с «теориями нашего времени»; это – судьба и вечность. И, в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Конта-Спенсера и подобных.

* * *

Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая, archeus agens⁹ ее – горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это – чернота, демократия. Верхняя пластинка – золотая: это – сибариты, обеспеченные и *не делающие*, гуляющие; *не служащие*. Но они чем-нибудь «на прогулках» были уязвлены, или – просто слишком добры, мягки, уступчивы, конфетны. Притом в своем кругу они – только «равные», и кой-кого даже непременно пониже. Переходя же в демократию, они тотчас становятся primi inter pares¹⁰. Демократия очень и очень умеет «целовать в плечико», ухаживать, льстить: хотя для «искренности и правдоподобия» обходится грубовато, спорит, нападает, *подишчивает war*, аристократом и его (теперь вчерашним) аристократизмом. Вообще демократия тоже знает, «где раки зимуют». Что «Короленко первый в литераторах своего времени» (после Толстого), что Герцен – аристократ и миллионер, что граф Толстой есть именно «граф», а князь Кропоткин был «князь», и, наконец, что Сибиряков имеет золотые прииски – это она при всем «социализме» отлично помнит, учтиво в присутствии всего этого держит себя, и отлично учитывает. Учитывает не только как выгоду, но и как *честь*. Вообще в социализме лакей неустрашим, но только очень старательно прикрыт. К Герцену все лезли и к Сибирякову лезли; к Шаляпину лезут даже за небольшие рубли, которые он выдает кружкам в виде «сбора с первого спектакля» (в своих турне: я слышал это от социал-демократа, *все* в этой партии знающего, и очень удивился). Кропоткин не подписывается просто «Кропоткин», «социалист Кр.», «гражданин Кр.», а «*князь* Кропоткин». Не забывают даже, что Лавров был *профессором*. Ничего, одним словом, не упускают из *чести*, из тщеславия: любят сладенькое, как и все «смертные». В то же время так презирая «эполеты» и «чины» старого строя...

⁸ Вечный двигатель, порочный круг (лат.).

⁹ Перводвигатель (лат.).

¹⁰ Первые среди равных (лат.).

Итак, две пластинки: движущая – это черная рать внизу, «нам *хочется*», и – «мы не сопротивляемся», пассивная, сверху. Верхняя пластинка – благочестивые Катилины; «мы великодушно сожжем дом, в котором сами живем и жили наши предки». Черная рать, конечно, вселится в *дóмы* этих предков: но как именно это – *черная рать*, не только по бедности, но и по существу бунта и злобы (два измерения, *без третьего*), то в «новых домах» она не почувствует никакой радости: а как Никита и Акулина «в обновках» (из «Власти тьмы»):

«– Ох, гасите свет! Не хочу чаю, убирайте водку!»

Венцом революции, *если она удастся*, будет великое *voló*:

– Уснуть.

Самоубийства – эра самоубийств...

И тут Кропоткин с астрономией и физикой и с «дружбой Реклю» (тоже тщеславие) очень мало помогут.

* * *

Есть дар слушания голосов и дар видения лиц. Ими проникаем в душу человека.

Не всякий умеет слушать человека. Иной слушает слова, понимает их связь и связно на них отвечает. Но он не уловил «подголосков», *теней звука «под голосом»*, – а в них-то, и притом в них одних, говорила душа.

Голос нужно слушать и в чтении. Поэтому не всякий «читающий Пушкина» имеет что-нибудь общее с Пушкиным, а лишь кто вслушивается в голос *говорящего* Пушкина, угадывая интонацию, какая была у живого. Кто «живого Пушкина не слушает» в перелистываемых страницах, тот как бы все равно и не читает его, а читает кого-то взамен его, уравнительного с ним, «такого же образования и таланта, как он, и писавшего на те же темы», – но не *самого его*.

Отсюда так чужды и глухи «академические» издания Пушкина, заваленные горою «примечаний», а у Венгерова – еще аляповатых картин и всякого ученого базара. На Пушкина точно высыпали сор из ящика: и он весь пыльный, сорный, загроможденный. Исчезла – в самом *виден внешней форме* издания – главная черта его образа и души: изумительная *краткость во всем и простота*. И конечно, лучшие издания и даже единственные, которые можно держать в руке без отвращения, – старые издания его, на толстоватой бумаге, каждое стихотворение с новой страницы (изд. Жуковского). Или – отдельные при жизни напечатанные стихотворения. Или – его стихи и драматические отрывки в «Северн. Цветах». У меня есть «Борис Годунов» 1831 года и 2 книжки «Северн. Цвет.» с Пушкиным; и – издание Жуковского. Лет через 30 эти издания будут цениться как золотые, а мастера будут абсолютно повторять (конечно, без цензурных современных урезок) бумагу, шрифты, расположение произведений, орфографию, формат и переплеты.

В таком издании мы можем достигнуть как бы слушания Пушкина. Недостягание через печать *до голоса* сделало безразличие того, кто берется «издавать» и «изучать» Пушкина и составлять к нему «комментарии». Нельзя не быть удивленным, до какой степени теперь «издатели классиков» не имеют ничего, связывающего с издаваемыми поэтами или прозаиками. «Им бы издавать Бонч-Бруевича, а они издают Пушкина». Универсально начитанный «товарищ», в демократической блузе, охватил Пушкина «как он есть», в шинели с бобровым воротником и французской шляпе, и понес, высоко подняв над головой (уважение) – как медведь Татьяну в известном сне.

И сколько общего у медведя с Татьяной, столько же у теперешних комментаторов с Пушкиным.

К таинственному и трудному делу «издательства» применимо архимедовское

Noli tangere meos circulos¹¹.

* * *

Душа озябла...
Страшно, когда наступает озноб души.

* * *

Возможно ли, чтобы позитивист заплакал?
Так же странно представить себе, как что «корова поехала верхом на кирасире».
И это кончает разговоры с ним. Расстаюсь с ним **вечным расставанием**.

Позитивизм в тайне души своей или точнее в сердцевине своего бездушия:

И пусть *бесчувственному телу*
Равно повсюду *истлевать*.

Позитивизм – философский мавзолей над умирающим человечеством.
Не хочу! Не хочу! Презираю, ненавижу, боюсь!!!

* * *

Как увядающие цветы люди.

Осень – и ничего нет. Как страшно это «нет». Как страшна осень.
(на извозчике).

* * *

Тяжелым утюгом гладит человека Б.

.....
.....
.....

И расправляет душевные морщины.

.....
.....
.....

Вот откуда говорят: *бойся Бога и не греши*.
(на извозчике ночью).

* * *

Велик горб человечества, велик горб человечества, велик горб человечества...

¹¹ Не прикасайся к моим кругам (лат.).

Идет, кряхтит, с голым черепом, с этим огромным горбом за спиною (страдания, терпение) великий древний старик; и кожа на нем почернела, и ноги изранены...

Что же тут молодежь танцует на горбе? «Мы — последние», все — «мы», всё — «нам».
Ну, танцуйте, господа.
(за нумизматикой).

* * *

На «том свете» мы будем немыми.
И восторг переполнит наши души.

Восторг всегда нем.
(за набивкой табаку).

Все жду, когда Григорий Спиридонович П-в напишет свою автобиографию. Ведь он замечательный человек.

Конечно, Короленко — более его замечательный человек: и напечатал чуть не том своего жизнеописания, — под грациозной вуалью: «История моего современника» Но отчего же не написать и Гр. Сп. П-ву? Не один Кутузов имел себе Михайловского-Данилевского: мог бы иметь и Барклай-де-Толли. Отчего «нашим современникам» не соединить в себе полководца и жизнеописателя, — так сказать, поместить себе за пазуху «Михайловского-Данилевского» и продиктовать ему все слова.

— «Мне Тита Ливия не надо», — говорят «современные» Александры Македонские. «Я довольно хорошо пишу, и опишу сам свой поход в Индию».

* * *

Ряд попикиков, кушающих севрюжину. Входит философ: — Ну, что же, господа... т. е. отцы духовные... холодно везде в мире... Озяб... и пришел погреться к вам... Бог с вами: прощаю вашу каменность, извиняю все глупое у вас, закрываю глаза на севрюжину... Все по слабости человеческой, может быть временной. Фарисеи вы... но сидите-то *все-таки* «на *седалище Моисеевом*»: и нет еще такого седалища в мире, как у вас. Был некто, кто, обратив внимание на ваше фарисейство, столкнул вас и с вами вместе и самое «седалище»... Я наоборот: ради значения «седалища», которое нечем заменить, закрываю глаза на вас и кладу голову к подножию «седалища»...

* * *

Если Философам случится пройти по мокрому тротуару без калош, то он будет неделю кашлять: я не понимаю, какой же он друг рабочих?

Этак Антихрист назовет себя «другом Христа», иудей — христианина, папа — Антихриста, а Прудон — Ротшильда.

Что же это выйдет? Мир разрушится, потеряет грани, связи; ибо потеряет *отталкивания*. Необходимые: ибо самые *связи-то* держатся через отталкивания. Но мир ничего, впрочем, не потеряет, ибо все они, от Философова до папы, именно только «назовут» себя, а дело останется,

как есть: папа – враг Антихриста, а Антихрист – *его* враг, и Философов – враг плебса, а плебс – враг Философова. А «говоры» – как хотите.

Вот уж, поистине – речи, в которых «скука и томление духа» (Экклез.).

Не язык наш – убеждения наши, а сапоги наши – убеждения наши.
Опорки, лапти, смазные, «от Вейса». Так и классифицируйте себя.

* * *

Русский «мечтатель» и существует для разговоров. Для чего же он существует. Не для дела же?

(едем в лавку).

* * *

Почти не встречается еврея, который не обладал бы каким-нибудь талантом; но не ищите среди них гения. Ведь Спиноза, которым они все хвалятся, был подражателем Декарта. А гений неподражаем и не подражает.

Одно и другое – талант, и не более чем талант, – вытекает из их связи с Божеством. «По связи этой» никто не лишен некоторой талантливости, как отдаленного или как теснейшего отсвета Божества. Но, с другой стороны, все и принадлежит Богу. Евреи и сильны своим Богом и обессилены им. Все они точно шатаются: велик – Бог, *но* еврей, даже пророк, даже Моисей, не являет той громады личного и свободного «я», какая присуща иногда бывает нееврею. Около Канта, Декарта и Лейбница все еврей-мыслители – какие-то «часовщики-починщики». Около сверкания Шекспира что такое еврей-писатели, от Гейне до Айзмана? В самой свободе их никогда не появится великолепия Бакунина. «Ширь» и «удаль», и – еврей: несовместимы. Они все «ходят на цепочке» перед Богом. И эта цепочка охраняет их, но и ограничивает.

* * *

О Рылееве, который, – «какая бы ни была погода, – каждый день шел пешком утром, и молился у гробницы императора Александра II», – при коем был адъютантом. Он был обыкновенный человек, – и даже имел французенку из балета, с которой прожил всю жизнь. Что же его заставляло ходить? кто заставлял? А мы даже о родителях своих, о детях (у нас – Надя на Смоленском) не ходим *всю жизнь* каждый день, и даже – каждую неделю, и – увы, увы – каждый месяц! Когда я услышал этот рассказ (Маслова?) в нашей редакции, – я был поражен и много лет вот не могу забыть его, все припоминаю. «Умерший падишах стоит меньше живой собаки», прочел я где-то в арабских сказках, и в смысле благополучия, выгоды умерший «освободитель» уже ничем ему (Рылееву) не мог быть полезен. Что же это за чувство и почему оно? Явно – это *привязанность, память, благодарность*. Отнесем $1/2$ к «благородству ходившего (т около 1903 г., и по поводу смерти его и говорили в редакции): но $1/2$ относится явно к *Государю*. Из этого вывод: явно, что Государи представляют собою не только «форму величия», существо «в мундире и тоге», но и что-то *глубоко человеческое и высокочеловеческое*, но чего мы не знаем по страшной удаленности от них, – потому, что нам, кроме «мундира», ничего и не показано. Все рассказы, напр., о Наполеоне III – антипатичны (т. е. он в них – антипатичен). Но он не был «урожденный», – и инстинкт выскочки уцепиться за полученную власть сорвал с него все величие, обаяние и правду. «Желал устроиться», – с императрицею и деточками. «Урожденный» не имеет этой нужды: вечно «признаваемый», совершенно не оспариваемый,

он имеет то довольство и счастье, которое присуще было «тому первому счастливому», который звался Адамом. «От роду» около него растут райские яблоки, которых ему не надо даже доставать рукой. Это – психика совершенно вне нашей. Все в него влюблены; все он имеет; что пожелает – есть. Чего же ему пожелать? По естественной психологии – счастья людям, счастья всем. Когда мы «в празднике», когда нам удалась «любовь» – как мы раздаем счастье вокруг, не считая – кому, не считая – сколько. Поэтому психология «урожденного» есть естественно доброта: которая вдруг пропадает, когда он *оспаривается*. Поэтому не оспаривать Царя есть сущность царства, *regni et regis*¹². Поразительно, что все жестокие наши государи были именно «в споре»: Иван Грозный – с боярами и претендентами, Анна Иоанновна – с Верховным Советом, и тоже – по неясности своих прав; Екатерина II (при случае, – с Новиковым и прочее) тоже по смутности «вошествия на престол». Все это сейчас же замутняет существо и портит лицо. Поэтому «любить Царя» (просто и ясно) есть действительно существо дела в монархии и «первый долг гражданина»: не по лести и коленопреклонению, а потому, что иначе портится все дело, «кушанье не сварено», «вишню побил мороз», «ниву выколотил град». Что это всемирно и общечеловечно, – показывает то, до чего люди «в оппозиции» и «ниспроверяющие», т. е. в претензии «на власть», рвущиеся к власти, – мирятся со всем, но уже очень подозрительно относятся к спокойным *возражениям себе*, спору с собой: а *насмешек* совершенно не переносят. Они отмели Страхова (критика), а Незлобина-Дьякова проклинали таким негодованием, которое в «литературной судьбе» равно «ссылке в каторгу». «Нельзя оскорблять *величие оппозиции*, ни – *правды ее*», на этом построена (у нас) вся литературная судьба ¹/₂ века, и около этого развился литературный карьеризм и азарт его. «Все хватают чины и ордена просто за *верноподданические чувства*» оппозиции и даже за грубую ей *лесть*. Такими «верноподданными», страстными и с пылом, были Писарев, Зайцев, Благосветлов: последний *в жизни* был невыразимый халуй, имел негра возле дверей кабинета, утопал в роскоши, и его близкие (рассказывают) утопали в «амурах» и деньгах, когда в его журнале писались «залихватские» семинарские статьи в духе: «все расшибем», «Пушкин – г...о». Но халуй ли, не халуй ли, а раз «сделал под козырек» и стоит «во фронте» перед оппозицией, – то ему все «прощено», забыто, получает «награды» рентами и чинами. Но что же это? Да это «придворный штат», уже готовый и сформированный, для будущей и ожидаемой власти, для *les rois* в лохмотьях. Обертываясь, мы усматриваем *существо* дела: «не будите нас от *сновидений*», «дайте нам *сознать себя правыми*, и *вечно правыми*, во *всех случаях правыми*, – и мы зальем вас счастьем»... «Скажите, признайте, полюбите в нас полубога: и мы будем даже лучше самого Бога!!» Хлыстовский элемент, элемент «живых христов» и «живых богородиц»... Вера Фигнер была явно революционной «богородицей», как и Екатерина Брешковская или Софья Перовская... «Иоанниты», всё «иоанниты» около «батюшки Иоанна Кронштадтского», которым на этот раз был Желябов. Когда раз в печати я сказал, что Желябов был дурак, то даже подобострастный Струве накинулся на меня с невероятной злобой, хотя у Вергежской он про революционеров говорил такие вещи, каких я себе никогда не позволял. «Но про себя думай, что знаешь – а на площади окажи усердие» («ура»): и Струве закричал на меня, потребовал устранения меня от прессы, просто за эти слова, что Желябов – дурак. «Его величество всегда умен» – в отношении Людовика XIV или – мечтаемого, призываемого, заранее славословимого Кромвеля. Обертывая все это и видишь: да это *всемирная* психология, *всемирная* потребность, *всемирный* фокус, что человек *только в счастье* в самозабвении – подлинно *благ*, доброжелателен, «творит милость и правду». Ну хорошо: то, чем этого ожидать *завтра*, не лучше ли поклониться *вчера*? Чем рубить топором и строгать рубанком куклу – для внешнего глаза «куклу», а для сердца верующего икону, – отчего не поставить «в передний угол» ту, которую мы нашли у себя в доме, родившись?

¹² Царства и царя (лат.).

И особенно нам, людям нижнего яруса, которые во власти не участвуем и *не хотим участвовать*, которые любим стихи и звезды, микроскоп и нумизматику, – совершенно явно мы должны «оставить все как есть» и не становиться «в оппозицию» к *le roi a present*¹³, в интересах *le roi future*¹⁴, «Желябова № 1».

«Нам все равно»... Т. е. успокоимся и будем делать свои дела. Вот почему от «14-го декабря 1825 г. до сейчас» вся наша история есть отклонение в сторону, и просто совершилась ни для чего. «Зашли не в тот переулок» и никакого «дома не нашли», «вертайся назад», «в гости не попали».

* * *

Да не воображайте, что вы «нравственнее» меня. Вы и не нравственны и не безнравственны. Вы просто сделанные вещи. Магазин сделанных вещей. Вот я возьму палку и разобью эти вещи.

Нравственна или безнравственна фарфоровая чашка? Можно сказать, что она чиста, что хорошо расписана, «цветочки» и все. Но мне больше нравится Шарик в конуре. И как он ни грязен, в сору, – я однако пойду играть с ним. А с вами – ничего.

(получив письмо от Г-на, что Сто-р перестал у меня бывать за мою «имморальность», – в идеях? в писаниях?)

* * *

...Показывал дачу. Проходя спальней – вижу двухспальную кровать. И говорю:

– Разве *живете*?

– До конца жизни! – крепко сказал поп.

У него дочь четвертый год замужем, – и вышла, уже окончив Курсы.

Он охоч был рыбу ловить (на взморье). Раз случилась буря, а он за 10 верст уехал. Матушка бежит по берегу и кричит:

– Поезжайте батьку спасать! Спасите отца!

Чухны не трогаются. Боятся (рыбаки).

– Десять рублей дам!!!

Те сели в огромную лодку и пустились в море. К вечеру привезли батьку. Она дала рубль и разговаривать не стала. Ругались.

Сама она была охоча до грибов. И для грибов повязывала голову платочком по-крестьянски. В 10 часов утра уже возвращается с полной корзиной белых.

Спросишь:

– *Где* ищите грибов?

– «Там», – махнет она неопределенно.

Никогда не скажет «места».

Раз на взморье шел дождь. Я торопился домой. Вечерело. И вижу, под зонтом стоит фигура. Стоит и смотрит в море. Пелена дождя. «Чего он тут смотрит? Ждет кого?»

Рассказываю бате за чаем. Он засмеялся:

¹³ Нынешний король (*фр.*).

¹⁴ Будущий король (*фр.*).

– Это мой отец. Приехал погостить из Вятки. Никогда моря не видал. Ужасно *любит воду*. И как увидит море, не может оторваться. Тоже священник. 74 года.

Он и «пузыри пускал». Т. е. этот. Должно быть, помня из Иловайского, и говорит:

– Я им говорю: – Выпишите *Виклефа*. Я буду продолжать диссертацию, начатую в Духовной академии, да тогда не кончил. А теперь свободнее и допишу. Выписали. Девять томов. Зимой начну читать.

Он был «профессором богословия» в высшем (техническом) заведении Петербурга. На лекции к нему ни один человек не приходил, и он был милостив к студентам и тоже сам не ходил. Одно жалованье, честь и квартира. Это так понравилось, что его пригласили и на курсы (женские). Он и на курсах читал, т. е. получал жалованье.

Дача у него была тысяч на десять, – т. е. с «местом». Великолепный сад. Ягоды. Два дома, в одном «сам», другой сдавал. У него я в баню ходил. Баня не очень удобна. Короток полоч (лежать, ложиться). Такое неприспособление.

И на что ему «Виклеф» – смеялся я в душе. Да вспомнил Юлия Кесаря: «Чем в Риме быть *вторым* — предпочитаю быть в деревне *первым*». Так и «бать» среди ученого персонала профессоров (высшее заведение) не хотел быть иначе, как тоже ученым богословом, особенно заинтересованным реформацией в Англии.

* * *

Никакого желания спорить со Спенсером: а желание вцепиться в его аккуратные бакенбарды и выдрать из них $1/2$.

Поразительно, что, видев столько на сцене «старых чиновников Николаевского времени» (у Островского и друг.), русские пропустили, что Спенсер похож на всех их. А его «Синтетическая философия» повторяет разграфленный аккуратно на «отделения» и «столоначальничества» департамент. И весь он был только директор департамента, с претензиями на революцию.

В VII-м классе гимназии, читая его «О воспитании умственном, нравственном» и еще каком-то, я был (гимназистом!!) поражен глупостью автора, – и не глупостью *отдельных мыслей* его, а – тона, так сказать – самой *души* авторской. Он с первой же страницы как бы читает лекцию какой-то глупой, воображаемой им мамаше, хотя я убежден, что все английские леди гораздо умнее его. Эту мамашу он наделяет всеми глупыми качествами, какие вообразил себе, т. е. какие есть у него и каких вовсе нет у англичанок. Ей он читает наставления, подняв кверху указательный перст.

Меня все время (гимназистом!) душил вопрос: – «Как он *смеет*). Как он *смеет!*» Еще ничего в то время не зная, я уголком глаза и, наконец, здравым смыслом (гимназиста!) видел, чувствовал, знал, что измученные и потрепанные матери все-таки страдают о своих детях, тогда как этот болван ни о чем не страдал, – и что они все-таки знают и видят самый *образ* ребенка, *фигуру* его, тогда как Спенсер (конечно, неженатый) видал детей только в «British Illustration», и что вообще он все «Умственное воспитание» сочиняет из головы, притом несколько не остроумной. Напр.: «Не надо останавливать детей, – ибо они, неостановленные, пусть дойдут до *последствий* неверных своих мыслей и своих вредных желаний: и тогда, ощутив *ошибку* этих мыслей и *боль* от вреда – вернутся назад, и тогда это будет *прочное воспитание*». И иллюстрирует, иллюстрирует с воображаемой глупой мамашей. «Напр., если ребенок тянется к огню, – то пусть и обожжет палец»... *Сложнее* этого ничего не лезло в его лошадиную голову. Но вот 8-летний мальчик начинает заниматься онанизмом, случайно испытал, пожав рукой или как, его приятность: что же, «мамаша» должна ждать, когда он к 20-ти годам «разочаруется»? Спенсер ничего не слышал о пагубных привычках детей!! Конечно, дети в «Британской

Иллюстрации» онанизмом не занимаются: но матери это знают и мучаются с этим и не знают, как найти средств. Да мое любимое занятие от 6-ти до 8-ми лет было следующее: подойдя к догорающей лежанке, т. е. когда $\frac{1}{2}$ дров – уже уголь и она вся пылает, раскалена и красна, – я, вытащив из-за пояса рубашонку (розовая с крапинками, ситцевая), устраивал парус. Именно – поддерживая зубами верхний край, я пальцами рук крепко держал нижние углы паруса и закрывал, почти вплотную, отверстие печки. Немедленно красивой дугой она втягивалась туда. Как сейчас, вижу ее: раскалена, и когда я отодвигался и парус, падая, касался груди и живота, – он жег кожу. Степень раскаленности и красота дуги меня и привлекали. Мне в голову не приходило, что она может *сразу вся вспыхнуть*, что я стоял на краю смерти. Я был уверен, что зажигается «*все от огня*», а не от жару и что нельзя зажечь рубашку иначе, как «поднеся к ней зажженную спичку»: «такой есть один способ горения». И любил я всегда это делать, когда в комнате один бывал, в какой-то созерцательности. Однако от нетерпения уже и при мамаше начинал делать «первые шаги» паруса. Всегда усталая и не замечая нас, – она мне не объяснила опасности, *если это увеличить*. А по Спенсеру, «и не надо было объяснять», пока я сгорю. Но мамаша была без «Ъ», а он написал 10 томов. Ну что с таким дураком делать, как не выдрать его за бакенбарды?!!

(*после чтения утром газет*).

* * *

«Это просто *пошлость!*»

Так сказал Толстой, в переданном кем-то «разговоре», о «*Женитьбе*» Гоголя.

Вот год ношу это в душе и думаю: как гениально! Не только *верно*, но и *полно*, так что остается только поставить «точку» и не продолжать.

И *весь* Гоголь, *весь* — кроме «Тараса» и вообще малороссийских вещей, – есть *пошлость* в смысле постижения, в смысле содержания. И – *гений* по форме, по тому, «как» сказано и рассказано.

Он хотел выставить «пошлость пошлого человека». Положим. Хотя очень странна тема. Как не заняться чем-нибудь интересным. Неужели интересного ничего нет в мире? Но его заняла, и на долго лет заняла, на всю зрелую жизнь, одна пошлость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.